

УДК 801.73

DOI 10.17223/19986645/36/11

Д.А. Медведева, А.А. Казаков

МЕЧТАТЕЛИ И ИДЕОЛОГИ В МИРЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В СВЕТЕ ФЕНОМЕНОЛОГИИ БЕЗУМИЯ¹

В статье анализируется, как мечта и идея, основные формы деятельности разума у героев Достоевского, трансформируются под воздействием безумия, важнейшего миромоделирующего фактора в мире Достоевского. Идея зарождается из мечты, они связаны по происхождению, но одновременно они противоположны. Мечта ирреальна, идея предполагает действие, воплощение в реальности. Между воображением и действительностью пропасть, но она преодолевается именно за счёт безумия, которое всегда появляется у Достоевского в точке перехода от мечты к идее. В статье анализируется эволюция этой концепции у Достоевского от повести «Двойник», в которой писатель впервые обратился к феномену безумия в полном объёме, до поздних романов.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, история русской литературы, безумие, мечтатель, идеолог, фантастический реализм, «Двойник».

Мир Достоевского характеризовался исследователями при помощи понятия «фантастический реализм» (Д.Л. Соркина, М. Джоунс), как карнавализованный (М. Бахтин), а также как лишённый оформленности (об этом говорит сам Достоевский в финальной части «Подростка» устами одного из героев). В этом контексте особую роль приобретает феномен безумия как один из важнейших вариантов смещения, отклонения от нормы, иррационально-гротескового моделирования реальности.

В.Ф. Чиж обращает внимание на то, что Достоевский описал большее количество душевнобольных, чем какой-либо другой художник в мире. Из более ста персонажей, по мнению исследователя, сколько-нибудь очерченных у Достоевского, более четверти – душевнобольные; такого соотношения нельзя найти ни у кого [1. С. 295].

Персонажей Достоевского называли «сгустками душевных порывов» [2. С. 47], а романы в целом – «галереей умалишенных» [3. С. 54]. Из-за поразительной точности описаний психиатры и криминалисты читали в свое время по его произведениям лекции, а исследованию психического здоровья и психопатологии его творчества отдельное внимание уделяли такие корифеи психиатрии, как Крейчмер и Ломброзо; Фрейд признавал, что без его романов не родился бы психоанализ [4], а сам Достоевский и поныне представляет интерес для изучения именно как самый «странный» писатель со всеми своими персонажами [5].

Феноменология безумия проявляется на всех уровнях антропологии Достоевского. Тем более эта иррациональная поправка к образу человека должна

¹ Исследование выполнено в рамках государственного задания на выполнение НИР «Изучение историко-культурного наследия России (сибирский аспект)» (код проекта 2059).

сказаться на том, как великий романист моделирует деятельность разума, как он показывает мир мечты и идеи. Мечтательство и идеология всегда признавались важнейшими составляющими антропологии Достоевского. Необходимо прояснить, как их своеобразие определяет фактор безумия, столь важный в мире писателя.

Герои-идеологи Достоевского активно изучаются после работ Б.М. Энгельгардта [6] и М.М. Бахтина [7]. Категорию «мечтатель» активно использовал сам писатель. Традицию научного исследования этой проблемы можно проследить от Л.П. Гроссмана [8] до Э.М. Жиликовой, В.Г. Одиноква [9], Р.Г. Назирова [10] и А.Б. Криницына [11].

Э.М. Жиликова предлагает подробную классификацию мечтателей Ф.М. Достоевского, выделяя мечтателя-фланера, мечтателя-утописта, мечтателя доброго сердца и т.д. По мнению учёного, Макар Девушкин, герой «Белых ночей», Вася Шумков, Ордынов, Неточка Незванова и ее отчим – все являются мечтателями [12].

В.Г. Одиноква, Р.Г. Назиров и А.Б. Криницын соотносят тип «мечтателя» с типом «подпольного человека». По словам Назирова, «подпольный человек – это «перевернутый» тип романтика-мечтателя, цинически оплевывающего свои собственные романтические идеалы» [10. С. 64], при этом вслед за Бахтиным Назиров утверждает, что подпольный человек – это не только «переродившийся Мечтатель раннего Достоевского», но и «первый герой-идеолог зрелого творчества писателя» [10. С. 65]. Мечта и идея в антропологии Достоевского связаны и генетически и структурно. При этом «Записки из подполья», как представляется, не начальный вариант этого превращения, а итог большой предварительной работы писателя. «Трансмутация» мечты в идею произошла раньше, чем это принято считать, – в точке, в которой с наибольшей силой впервые проявляется также интерес Достоевского к феномену безумия. В «Записках из подполья» идея достигает должного уровня масштабности и приобретает окончательную форму, однако без учёта истории проб и ошибок писателя мы не уясним внутреннюю специфику идеи в мире Достоевского (в первую очередь предыстория проясняет роль феномена безумия в этой связи).

На пути от мечты к идее важнейшую роль играет повесть «Двойник», которую Белинский осудил за фантастичность, не приняв специфическое решение проблемы безумия у молодого писателя: «Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находится в заведовании врачей, а не поэтов» [13. С. 40–41].

На наш взгляд, причина кроется в том, что Белинский, как и современная Достоевскому критика в целом, оценивали «Двойника» в русле литературной традиции «мещанской психологии» и «мечтательства», а Достоевский явил публике первый эскиз героя-идеолога. Заметим, что именно Белинский указал, что «как талант необыкновенный, автор несколько не повторился во втором своем произведении, – и оно представляет у него совершенно новый мир» [13. С. 493].

Применение категории «герой-идеолог» к главному герою повести «Двойник» даже с обозначенными выше оговорками может показаться спорным. Но, как уже не раз указывалось в достоевсковедении, главным отличием

«Бедных людей» от «Двойника» является то, что в дебютном романе герои представляли пассивными страдальцами, а Голядкин – первый герой, стремящийся к деятельности (а это, как должно быть понятно, представляет собой путь преодоления мечтательства).

Тип «мелкого чиновника» не предполагает активного участия в трансформации действительности, такому герою обычно дано только выстраивание иллюзорной реальности, а Голядкин хочет действовать. Когда доктор высказывает опасения относительно состояния Голядкина, тот восклицает: «Зато я, Крестьян Иванович, действую; зато я действую, Крестьян Иванович!» [14. Т. 1. С. 116]. С самого начала повести мы ни разу не сталкиваемся с мечтами Голядкина, он окружен идеями: «Какая-то далекая, давно уж забытая идея, – воспоминание о каком-то давно случившемся обстоятельстве, – пришла теперь ему в голову, стучала, словно молоточком, в его голове, досаждала ему, не отвязывалась прочь от него» [14. Т. 1. С. 142]. Идея – активна и этим опасна. Если мечта – это заветное желание, нечто, созданное воображением и сулящее счастье, но мыслимое как неосуществимое, то идея – это мысленный прообраз какого-либо предмета, явления, действия, включающий план его воплощения в действительность. «У меня, Яков Петрович, даже идея была, – говорит Голядкин Двойнику – у меня даже идея была, что, дескать, вот, создались два совершенно подобные...» [14. Т. 1. С. 204]. И они создались.

Мечта предполагает пассивность, герой-идеолог способен на активное действие. В 1861 г. Достоевский пишет в статье «Вопрос об университетах»: «Мы <...> такие мечтатели. Без практической деятельности человек поневоле станет мечтателем» [14. Т. 19. С. 206]. В «Петербургской летописи» Достоевский также объясняет: «...в характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностью, и человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода – *мечтателем*. А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками, – и мы говорим это вовсе не в шутку. Вы иногда встречаете человека рассеянного, с неопределенно-тусклым взглядом, часто с бледным, измятым лицом, всегда как будто занятого чем-то ужасно тягостным, каким-то головоломнейшим делом, иногда измученного, утомленного как будто от тяжких трудов, но в сущности не производящего ровно ничего, – таков бывает мечтатель снаружи. Мечтатель всегда тяжел, потому что неровен до крайности: то слишком весел, то слишком угрюм, то грубиян, то внимателен и нежен, то эгоист, то способен к благороднейшим чувствам» [14. Т. 18. С. 81].

Мы знаем, что Достоевский уделял много внимания образу мечтателя и даже хотел посвятить ему отдельный роман, однако, как нам известно, замысел романа «Мечтатель» так и не воплотился. На наш взгляд, это связано именно с тем, что заимствованный из литературной традиции тип героя-мечтателя не мог реализовать авторские установки Достоевского в силу сво-

ей «недееспособности», и в итоге все разделы «Дневника писателя», отданные в планах Мечтателю, занял Парадоксалист.

Более того, герои Достоевского, которых в исследовательской традиции принято считать «мечтателями», приобретают черты героя-идеолога. Уже Ордын в «Хозяйке», одержим не мечтами, а страстью: «Его пожирала страсть самая глубокая, самая ненасытимая, истощающая всю жизнь человека и не выделяющая таким существам, как Ордын, ни одного угла в сфере другой, практической, житейской деятельности. Эта страсть была – наука» [14. Т. 1. С. 265]. Из этой страсти вырастает идея: «Он сам создавал себе систему; она выживалась в нем годами, и в душе его уже мало-помалу восставал еще темный, неясный, но как-то дивно-отрадный образ идеи, воплощенной в новую, просветленную форму, и эта форма просилась из души его, терзая эту душу» [14. Т. 1. С. 266].

Несмотря на репутацию мечтателя, персонаж «Сна смешного человека» имеет дело с идеями, а не с мечтами. Само слово «идея» встречается в общем корпусе текстов Достоевского 1436 раз и находится на 432-м месте среди тысячи самых частых слов [15].

Разделение мечты и идеи оформилось окончательно в зрелом творчестве Достоевского, хотя в истоках стоял именно «Двойник». Можно предположить, что неприятие этой повести современниками несколько отсрочило полноценное завершение уже возникшего в сознании Достоевского нового типа героя.

В первом же романе пятикнижия «Преступлении и наказании» уже четко ограничены сферы мечты – это не что иное, как уход от реальности. Мармеладов откровенничает с Раскольниковым: «И в продолжение всего того райского дня моей жизни и всего того вечера я и сам в мечтаниях летучих препровождал: и то есть как я это всё устрою, и ребятишек одену, и ей покой дам, и дочь мою единородную от бесчестья в лоно семьи возвращу...» [14. Т. 6. С. 19], Пульхерия Александровна, рассуждая о пользе Лужина для Раскольникова, восклицает: «О если б это осуществилось! Это была бы такая выгода, что надо считать ее не иначе, как прямою к нам милостию вседержителя. Дуня только и мечтает об этом» [14. Т. 6. С. 32]. Разумихин, в свою очередь, думая о Дуне, «ясно сознавал, что мечта, загоровшаяся в голове его, в высшей степени неосуществима, – до того неосуществима, что ему даже стало стыдно ее, и он поскорей перешел к другим, более насущным заботам и недоумениям» [14. Т. 6. С. 161].

В «Идиоте» мечты сопровождают нахождение князя в Швейцарии, прекращаясь в России. В «Бесах» мечты уготованы лишь Лебядкиной, чье знакомство со Ставрогиным «кончилось окончательным сотрясением ее умственных способностей» [14. Т. 10. С. 119]. «Повторяю, я плохой описатель чувств, – говорит нам хроникер, – но тут главное мечта. А Николай Всеволодович, как нарочно, еще более раздражал мечту» [14. Т. 10. С. 119]. «Подросток» признается: «я мечтал изо всех сил и до того, что мне некогда было разговаривать» [14. Т. 13. С. 73]. Всюду мы наблюдаем абсолютную пассивность мечтателя и мечты, неприложимость ее к актуальной действительности.

Это продолжается и в «Братьях Карамазовых». Дмитрий в припадке сильного гнева грозит отцу: «...берегись, старик, береги мечту, потому что и

у меня мечта!» [14. Т. 14. С. 129], о самой Грушеньке, на тот момент недоступной, он говорит: «...это моя мечта, мой бред!» [14. Т. 14. С. 143]. Иван, рассуждения о боге представляет в контексте мечты, потому что для него бог не является подходящим для реального существования. Иван заключает: «...находились и находятся даже и теперь геометры и философы и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная, или еще обширнее, – все бытие было создано лишь по эвклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые по Эвклиду ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности» [14. Т. 14. С. 214]. Думы о справедливости и гармонии божьей – такая же мечта для Ивана, потому что он не видит ее практической приложимости.

Совершенно по-другому дело обстоит с идеей.

В «Преступлении и наказании» Достоевский демонстрирует процесс рождения идеи: «В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразною, но соблазнительною дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе и, несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, «безобразную» мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя всё еще сам себе не верил» [14. Т. 6. С. 7]. Процесс запущен, и спустя некоторое время мы наблюдаем: «Вдруг он вздрогнул: одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не оттого, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, он предчувствовал, что она непременно «пронесется», и уже ждал ее; да и мысль эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад, и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь... теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это...» [14. Т. 6. С. 39]. Накануне чтения Соней «Воскресения Лазаря» происходит обрастание идеи материальностью, Достоевский показывает, что идея в процессе своего бытования обретает способность быть материально ощутимой, она все растет в своей способности к действию в отличие от мечты: «Горевший и пристальный взгляд Раскольников как будто усиливался с каждым мгновением, проникал в его душу, в сознание. Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное как будто прошло между ними... Какая-то идея проскользнула, как будто намек; что-то ужасное, безобразное и вдруг понятое с обеих сторон... Разумихин побледнел как мертвец» [14. Т. 6. С. 240]. Этот потенциал идеи понимает даже Лебезятников: «Я могу косвенно способствовать развитию и пропаганде. Всякий человек обязан развивать и пропагандировать и, может быть, чем резче, тем лучше. Я могу закинуть идею, зерно... Из этого зерна вырастет факт» [14. Т. 6. С. 282].

Подросток описывает свой переход от мечты к идее: «Самая яростная мечтательность сопровождала меня вплоть до открытия «идеи», когда все мечты из глупых разом стали разумными и из мечтательной формы романа перешли в рассудочную форму действительности» [14. Т. 13. С. 73]. «Что это за «своя идея», об этом слишком много будет потом, – предвосхищает Аркадий, – Гимназия мечтам не мешала; не помешала и идее. А идея помешала гимназии, помешала и университету» [14. Т. 13. С. 15]. Здесь мы ощущаем

почти физическую активность идеи, что развивается и дальше – «если б эта идея была всеми усвоена, то развязала бы руки и освободила многих от патристического предрассудка» [14. Т. 13. С. 45]. «Идея» утешала в позоре и ничтожестве; но и все мерзости мои тоже как бы прятались под идею; она, так сказать, все облегчала, но и все заволакивала передо мной» [14. Т. 13. С. 79] (вспомним, что о мечте говорится лишь в пассивном залоге). Идея вступает в прямое взаимодействие с человеком, она почти физически ощутима. В качестве примера обратимся к Шатову: «Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и на половину совсем уже раздавившим их камнем» [14. Т. 10. С. 27].

Опасность идеи в том, что если мечта воспринимается как желаемое, то идея – как правильное. Она претендует на реалистичность и объективность – происходит подмена, переворачиваются смыслы. Мечта безобидна тем, что неосуществима, а идея – практически приложима.

Р. Уильямс справедливо отмечает, что практически весь фокус повествования у Достоевского сосредоточен на преступлении, но это совсем не означает что все главные герои – «злодеи»; суть в другом. Достоевский показывает, что чтобы вершить зло не обязательно иметь дурные намерения, однако, поддавшись идее, даже, казалось бы, неплохие люди, например Степан Трофимович и Шатов, или чуткий и великодушный Кириллов, становятся далеко не безобидными [16. С. 117].

Алеша Карамазов, который мог показаться читателю «болезненной, экстазной, бедно развитой натурой, бледным мечтателем» [14. Т. 14. С. 24], на самом деле, по словам автора, «был даже больше чем кто-нибудь реалистом» [14. Т. 14. С. 24]. Достоевский приводит Алешу к тому, что однажды наступает момент и «как будто нити ото всех этих бесчисленных миров божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным». Простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения, о! не себе, а за всех, за все и за вся, а «за меня и другие просят», прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и неизблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом, и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь свою потом этой минуты. «Кто-то посетил мою душу в тот час», говорил он потом с твердою верой в слова свои... Через три дня он вышел из монастыря, что согласовалось и со словом покойного старца его, повелевшего ему «пребывать в миру» [14. Т. 14. С. 290]. Именно с момента прорастания идеи Алеша окончательно перестает быть мечтателем и превращается в деятеля. И все творчество Достоевского в своей истории являет собой реализацию общего направления этой мысли Достоевского, от интерпретации и претворения в жизнь сюжетных построений читателями до рождения целых философских систем (см., например: [17]).

Итак, мечта и идея и связаны, и противоположны. Идея зарождается из мечты, придавая мысли совершенно новое качество, переводя её из области умозрительной в деятельную. Но каким образом происходит эта качественная трансформация, специфический перформанс, превращающий мысль в бытие? Как преодолевается пропасть между мечтой и действием? Философским камнем этой трансмутации оказывается безумие. Фактор безумия был обозначен во многих примерах перехода мечты в деятельную идею, которые были приведены выше: от «безобразной мечты» Раскольникова [14. Т. 6. С. 7] до «моей мечты, моего бреда» Дмитрия Карамазова [14. Т. 14. С. 143].

Впервые эта особенность проявляется именно в «Двойнике» – правда, в специфическом гротесково-притчевом виде. О том, что появление феномена безумия в «Двойнике» было неслучайным, говорит свидетельство врача С.Д. Яновского, познакомившегося с писателем вскоре после появления в печати «Двойника». Доктор вспоминает об интересе Достоевского в те годы к специальной медицинской литературе «о болезнях мозга и нервной системы, о болезнях душевных и о развитии черепа по старой, но в то время бывшей в ходу системе Галля [18. С. 72]. Интерес этот, отразившийся в «Двойнике», позволил Достоевскому, как многократно отмечали специалисты-психиатры, предельно точно воспроизвести ряд проявлений расстройственной психики.

Стремясь к деятельности, Голядкин-мечтатель оказывается не готов к ней и порождает двойника, вывернутую производную, которая обладает силой для действия. Бездна между мечтой и деятельной идеей преодолевается иррациональным прыжком, наподобие перемещения из Я в двойника. Или – в другой перспективе – невозможный переход от умозрительного бытия к реальному становится возможным на незаконной территории безумия.

Достоевский производит замену мечты на идею, но эта трансформация чужда сущности характера Голядкина (и как бедного чиновника, маленького человека, и как специфического варианта мечтателя). Следуя законам психологизма, Достоевский показывает нам, какие перемены происходят в сознании Голядкина в точке столкновения двух этих разнородных сил (идеи и смысловой инерции психологического типа Голядкина), к каким действиям это приводит и чем заканчивается.

Характерной чертой героев-идеологов, в отличие от мечтателей, становится их развитое самосознание, способность к рефлексии и нравственному анализу своих поступков. Чем сильнее Голядкин увязает в своем безумии, тем острее его чувство вины перед собой и другими (например, его мучают воспоминания о предательстве им Каролины Ивановны и принятии решения в пользу более выгодного брака с Кларой Олсуфьевной; вспомним также исповеди «подпольного человека», Раскольникова и прочих). Именно осознание вины и отличает его от Голядкина-младшего, через признание вины Голядкин-старший отделяет себя от него, еще более раздваиваясь и усугубляя свое психическое состояние.

Современники не приняли предложенную автором «Двойника» художественную модель перехода к идее. Достоевскому приходится обращаться к иному типу героя и иначе моделировать переход к идее. Так рождаются интеллигент Ордын, Парадоксалист – «подпольный человек», студент Раскольников, «Очевидец» Иван Карамазов. Художественные решения, исполь-

зованные в повести «Двойник», будут использованы в двойнике Версилова, бесенке Ставрогина и черте Ивана Карамазова.

Мечтатель превращается у Достоевского в одержимого и больного идеолога, сначала путем введения inferнального (например, в повести «Хозяйка») — затем клинического, что проявилось в поздних романах, но истоком можно считать именно повесть «Двойник», неприятие которого критикой лишь немного задержало процесс формирования героя-идеолога.

Литература

1. Чиж В.Ф. Достоевский как психопатолог // Чиж В.Ф. Болезнь Н.В. Гоголя. М., 2002. 512 с.
2. Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении / под ред. А.В. Гулыги; пер. с нем. И.С. Андреевой. М.: Республика, 1996. 447 с.
3. Замотин И.И. Достоевский в русской критике 1846–1881. Варшава, 1913. 334 с.
4. Фрейд З. Достоевский и отцеубийство [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vehi.net/dostoevsky/freid.html>
5. Басин Е.Я. «Странный Достоевский»: Антология. Статьи. М.: БФРГТЗ «Слово», 2013. 280 с.
6. Энгельгардт Б.М. Избранные труды. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1995. 328 с.
7. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. М., 2002. Т. 6. 361 с.
8. Гроссман Л.П. Достоевский. М.: Молодая гвардия, 1965. 608 с.
9. Одинокое В.Г. Типология образов в художественной системе Ф.М. Достоевского. Новосибирск: Наука, 1981. 145 с.
10. Назиров Р.Г. Творческие принципы Достоевского. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1982. 160 с.
11. Криницын А.Б. Исповедь подпольного человека: К антропологии Ф.М. Достоевского. М.: МАКС Пресс, 2001. 372 с.
12. Жиякова Э.М. Традиции сентиментализма в творчестве раннего Достоевского. Томск, 1989. 272 с.
13. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. М., 1955. Т. 9. 793 с.
14. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
15. Андрищенко В.М., Ребецкая Н.А., Шайкевич А.Я. Статистический словарь языка Достоевского. М., 2002. 832 с.
16. Уильямс Р. Достоевский: язык, вера, повествование. М.: РОССПЭН, 2013. 295 с.
17. Новикова Е.Г. Ф.М. Достоевский и книга С.Н. Булгакова «Философия хозяйства» // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2012. №4 (20). С. 81–86.
18. Гарин И.И. Многоликий Достоевский. М.: ТЕРРА, 1997. 396 с.

DREAMERS AND IDEOLOGISTS IN F.M. DOSTOEVSKY'S WORLD IN THE LIGHT OF MADNESS PHENOMENOLOGY.

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 4(36), pp. 141–150.

DOI 10.17223/19986645/36/11

Medvedeva Diana A., Kazakov Alexey A., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: d.a.medvedeva@mail.ru / akaz75@mail.ru

Keywords: Dostoevsky, Russian literature history, madness, dreamer, ideologist, fantastic realism, The Double.

Dostoevsky's world was characterized by researchers through the prism of the notion "fantastic realism", also regarded as carnival-like or shapeless. In this regard, the madness phenomenon is becoming significant being one of the most important displacing variants, deviance, irrationally grotesque reality modeling. Madness phenomenology appears at all Dostoevsky's anthropology levels. Moreover, this irrational deflection of a human image should influence the way the great novelist models mind activities and demonstrates the world of dream and idea.

An important role on the way from a dream to an idea has a story *The Double* that Belinsky criticized for whimsicality not accepting the specific solution of the madness problem the young writer offered. The reason for it, in our opinion, lies in the fact that Belinsky, like all other critics of Dostoevsky's time, evaluated *The Double* within the literature tradition of "bourgeois psychology" and "daydreaming", while Dostoevsky demonstrated the first sketch of a character-ideologist. Applying the "character-ideologist" category to the main character of the story *The Double* even taking into consideration these options might seem disputable. Golyadkin is the first character striving for activity (which must be understood as a way of daydream overcoming).

A dream implies passivity while a character-ideologist is active. A dream and an idea are connected and opposite at the same time. A dream gives birth to an idea that brings an absolutely new quality to a thought that transfers it out of the field of ideation into the field of activity. But how does this quality transformation, a specific performance changing a thought into an existence, happen? How is this gap between a dream and an action bridged? A philosopher's stone of this transmutation is madness. The madness factor has been mentioned in many examples of a dream – action transformation in Dostoevsky's works, starting with Roskolnikov's disgusting dream (14, vol. 6, p. 7) and finishing with Dmitry Karamazov's "my dream, my delirium" (14, vol. 14, p. 143).

It is *The Double* where this peculiarity appears for the first time though in a specific grotesque-parabolic way. Striving for activity, dreamer Golyadkin is ready for it and gives birth to a double, a reverse derivate that has power for activity. An abyss between a dream and an active idea is crossed by an irrational leap as if a move out of an EGO into a double. Ultimately, an impossible transit from ideation into real existence becomes possible on the lawless madness territory.

The contemporaries did not accept the artistic model of transition to an idea the author of *The Double* offered. Dostoevsky had to address another type of a character and model this transformation in a different way. His dreamer becomes an obsessed and sick ideologist, firstly, through the infernal (*The Mistress*) and then through the clinical in the latest novels, but *The Double* might be regarded as an effluent of it. The critics' rejection of this story only delayed the formation of a character-ideologist.

References

1. Chizh, V.F. (2002) Dostoevskiy kak psikhopatolog [Dostoevsky as a psychopathologist]. In: Chizh, V.F. *Bolezn' N.V. Gogolya* [Disease of N.V. Gogol]. Moscow: TERRA-Knizhnyy klub: Respublika.
2. Lauth, R. (1996) *Filosofiya Dostoevskogo v sistematicheskom izlozhenii* [The philosophy of Dostoevsky in a systematic exposition]. Translated from German by I.S. Andreeva. Moscow: Respublika.
3. Zamotin, I.I. (1913) *Dostoevskiy v russkoy kritike 1846–1881* [Dostoevsky in Russian criticism 1846–1881]. Warsaw.
4. Freud, Z. (c. 2001) *Dostoevskiy i ottsebiystvo* [Dostoevsky and parricide]. [Online]. Available from: <http://www.vehi.net/dostoevsky/freid.html>.
5. Basin, E.Ya. (2013) "Strannyi Dostoevskiy". *Antologiya. Stat'i* ["Strange Dostoevsky." Anthology. Articles]. Moscow: Slovo.
6. Engelhardt, B.M. (1995) *Izbrannye trudy* [Selected works]. St. Petersburg: St. Petersburg State University.
7. Bakhtin, M.M. (2002) Problemy poetiki Dostoevskogo [Problems of Dostoevsky's Poetics]. In: Bakhtin, M.M. *Sobranie sochineniy* [Collected Works]. V. 6. Moscow: Russkie slovari; Yazyki slavyanskoy kul'tury.
8. Grossman, L.P. (1965) *Dostoevskiy* [Dostoevsky]. Moscow: Molodaya gvardiya.
9. Odinkov, V.G. (1981) *Tipologiya obrazov v khudozhestvennoy sisteme F.M. Dostoevskogo* [Typology of images in the artistic system of F.M. Dostoevsky]. Novosibirsk: Nauka.
10. Nazirov, R.G. (1982) *Tvorcheskie printsipy Dostoevskogo* [Creative principles of Dostoevsky]. Saratov: Saratov State University.
11. Krinitsyn, A.B. (2001) *Ispoved' podpol'nogo cheloveka: K antropologii F.M. Dostoevskogo* [Confessions of the underground man: anthropology of F.M. Dostoevsky]. Moscow: MAKSS Press.
12. Zhilyakova, E.M. (1989) *Traditsii sentimentalizma v tvorchestve rannego Dostoevskogo* [The tradition of sentimentalism in the works of early Dostoevsky]. Tomsk: Tomsk State University.
13. Belinsky, V.G. (1955) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. V. 9. Moscow: USSR AS.

14. Dostoevsky, F.M. (1972–1990) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. 30 v. Leningrad: Nauka.
15. Andryushchenko, V.M., Rebetskaya, N.A. & Shaykevich, A.Ya. (2002) *Statisticheskiy slovar' yazyka Dostoevskogo* [The statistical dictionary of Dostoevsky's language]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
16. Williams, R. (2013) *Dostoevskiy: yazyk, vera, povestvovanie* [Dostoevsky: language, faith, narration]. Moscow: ROSSPEN.
17. Novikova, E.G. (2012) F.M. Dostoevsky and S.N. Bulgakov's book "Philosophy of Economy". *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 4 (20). pp. 81–86.
18. Garin, I.I. (1997) *Mnogolikiy Dostoevskiy* [Many Faces of Dostoevsky]. Moscow: TERRA.